



Москва

9
2015

Журнал русской культуры

Выходит с марта 1957 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Союз писателей России

Российский Фонд Мира

Трудовой коллектив
журнала «Москва»



9

2015

16+

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Евгений ЮШИН. Листопад. Стихи	3
Анатолий ЗАГОРОДНИЙ. Гроза. Рассказ	8
Андрей МОЛЧАНОВ. Форпост. Роман. Окончание	20

ПУБЛИЦИСТИКА

Хитоси КАВАЙ. Вторая родина	100
Юрий КОМАРОВ. Застольные беседы в Токио	107
Денис МАЛЫЦЕВ. Индийский поход императора Павла I	122

КУЛЬТУРА

Андрей РУМЯНЦЕВ. «Что не выразить сердцу словом...»	140
Сергей и Инна ЦВЕТКОВЫ. Святой князь Владимир	147
<i>Антология одного стихотворения. Апухтин Алексей Николаевич</i>	167

РУССКИЕ СУДЬБЫ

Елена НАУМОВА. Четверо из семьи Ермаковых. Окончание	171
---	-----

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Дневник К.Р. 1909 года	190
-------------------------------------	-----

МОСКОВСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Анатолий ЛУБСКИЙ. Приглашение к дискурсу. —

Олег ТОРЧИНСКИЙ. Издательский проект продолжается... —

Галина ЩЕРБОВА. Интересен современник 211

МОСКОВСКАЯ ТЕТРАДЬ

Алексей МИНКИН. О московских католиках и не только... 221

ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

Святитель ИОАНН (МАКСИМОВИЧ). Православное почитание

Божией Матери 226

Главный редактор В.В. АРТЕМОВ (495) 691-71-10

Генеральный директор В.В. КОВАЛЕВ (495) 691-83-91

Ответственный секретарь О.И. КИРЕЕНКО (495) 691-83-64

Отдел прозы и поэзии Т.А. НЕРЕТИНА (495) 691-68-01

Отдел культуры О.Ю. ТАРАНЕНКО (495) 691-68-01

Домашняя церковь С.И. НОСЕНКО (495) 691-68-01

Главный бухгалтер Л.Э. БУДНИКОВА (495) 691-83-84

Заведующая редакцией М.В. БИКАШОВА (495) 691-71-10

Корректор О.И. ИВАНОВА

Технический редактор Е.Ю. ЕРОФЕЕВА

Общественный совет:

игумен ЕВФИМИЙ (МОИСЕЕВ), П.Н. КРАСНОВ, В.Н. КРУПИН, В.А. КУЛЬЧИЦКИЙ,
П.В. МУЛЬТАТУЛИ, А.С. САЛУЦКИЙ,

М.Б. СМОЛИН (председатель), архимандрит ТИХОН (ШЕВКУНОВ),
И.Р. ШАФАРЕВИЧ

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Отклоненные рукописи сохраняются в течение года. Рукописи, присланные по электронной почте, не рассматриваются. Материалы принимаются только в распечатанном виде по адресу редакции. Журнал не публикует поэмы, либретто и сценарии.

Подписано в печать 24.08.15. Формат 70х108 1/16. Бумага типографская № 2. Печать офсетная.
Тираж 1480 экз. Заказ 4548.

Свидетельство о регистрации № 554 от 29 декабря 1990 года Министерства печати Российской Федерации

Подписные индексы: 73253 — каталог РОСПЕЧАТЬ, 15612 — «Пресса России», 45211 — каталог «МАП».

Адрес редакции: 119002, Москва, ул. Арбат, д. 20. Телефон +7(495) 691-71-10. Факс +7(495) 691-07-32.

Электронная версия журнала: www.moskvam.ru

e-mail: priem@moskvam.ru

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография» Филиал «Чеховский Печатный Двор». 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1. Сайт: www.chpd.ru; e-mail: sales@chpk.ru, 8(495) 988-63-87.

ISSN 0131-2332

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

© Журнал «Москва» № 9, 2015



ЛИСТОПАД

* * *

Снилась мне дорога — люлькой журавлиной,
В утренних колосьях, с солнцем на краю,
С жеребьим ветром, кроткою рябиной.
Снилась мне дорога в молодость мою.

Снилась та, чьи губы пахнут пьяной вишней,
Волосы лугами пахнут и рекой.
Мимолетным ливнем выкрашены крыши,
Ласточки-стригуны жгутся под рукой.

Там береза в ливне бьется, словно жерех.
И с непроходимой юностью в глазах
Я смотрю, как волны рушатся на берег
Да в восторге небо хрипнет на басах.

Но уже до яблонь дотянулась пальцем
Иневая осень, августом звеня.
В кипяченой дрожи проливных акаций
Вот мне и приснилась молодость моя.

Евгений Юрьевич Юшин родился в 1955 году в городе Озёры Московской области. Детские годы прошли на Оке и Воже: в рязанской деревне Лужки. Школу и пединститут окончил в Улан-Удэ.

Работал в Центральном доме культуры железнодорожников, в журнале «Молодая гвардия».

Автор 12 поэтических книг.

Член Союза писателей России.

Живет в Москве.

Август

Гудят молодые меды, и надломлены соты,
И солнце густеет на блюде в кружении ос.
Лесными проселками, лугом померкшим, болотом
Качается грузного августа пламенный воз.

Выносят сады в подолах разноцветие яблок.
Темнеет по лужам березовых листьев настой.
Озябши под вечер, к стожку прибивается зяблик,
И гнездами пряные грузди лежат под листвой.

Уже кабаны нажрались желудей и крапивы,
Над лугом далеким в одышке застыла гроза.
О чем-то прощальном лепечут поречные ивы,
И щурят избушки свои голубые глаза.

Маслята молочные с верхом корзину укрыли.
По теплой хвоинке ползет золотой муравей.
Стрекозы роняют почти что стеклянные крылья,
И пенится горькое солнце в изгибах ветвей.

Возьму это солнышко, эту бруснику щекастую,
На губы ее положу — и закрою глаза:
То жизнь моя, жизнь — удивленная, терпкая, красная,
То песня родная — скользнувшая небом слеза.

Душой обниму эту вольную, светлую, сизую,
Дошатаю родину, чтобы и сыну расти.
И весь этот август, всю песню пушу по карнизу,
Чтоб в белую зиму ему зеленеть и цвести.

Еще не сентябрь, но прощайте, пролетные гуси!
Я вас провожу — улетайте, храни вас Господь!
Все катится воз. И все катится небо над Русью.
Сжимается сердце, сжимаются пальцы в щепоть.

Птица времени

Евгению Кочеткову

В коленях хворь, с которой надо сжиться.
Разволновался — и губа дрожит.
Приляжешь в травы и увидишь: птица
В просторном небе медленно кружит.

Она свои просторы верховые
Сшивает с этим лугом и тропой,
Кружит она и кольца годовые
Свивает в синем небе над тобой.

И вспомнятся тебе родные лица,
Которых нет уже в земном краю.
Зачем ты кружишь, медленная птица,
Очерчивая в небе полынью?

В ту полынью уходят безвозвратно,
А нам с тобой пока что не черед.
Закат роняет пламенные пятна
На окна изб и клены у ворот.

Жизнь так спешит — за нею не угнаться,
И не упрятать прошлое в баул,
И хочется, как в детстве, разрыдаться,
Как будто кто-то горько обманул.

Облокотилось прошлое на плечи.
Вопросов много, но ответов нет.
За все ошибки, где судьбе перечил,
Любому на земле держать ответ.

И дни все туже тянутся, все глуше,
А ночью вовсе не видать ни зги.
И только птица кружит,
птица кружит,
Свивает бесконечные круги.

В старом доме

Как прежде ровен статных сосен шум.
Года — прошли, скорее — пролетели.
Я в дом вхожу, как будто в старый трюм —
Давно корабль уплыл от колыбели.

Но свет избы, желанный и родной,
И пятна солнца на полу дощатом
Все эти годы прожили со мной
И в трудную минуту были рядом.

Какой потерей полнится душа!
Как будто я стою на пепелище,
И вот душа все что-то ищет, ищет.
На месте все — и нету ни шиша.

Вздыхнут сиротски форточка и дверь,
И по-сиротски скрипнет половица.
Они теперь до смерти будут сниться
Средь горьких неминуемых потерь.

Кровать, сундук и вековая пыль.
Не возвращайтесь в детские просторы!

Пусть давние леса твои и горы
Живут в тебе, как прожитая быль.

Но как влечет в родимые места!
Как хочется из мира нажитого
Попасть туда, где у крыльца родного —
Отец и мать,
и жизнь твоя — чиста.

* * *

Мне хорошо, когда осень за окнами
И листопад, листопад...
Листьями рыжими, листьями мокрыми
Стелятся роща и сад.

Падают звезды за краем околицы,
Сыростью тянет с болот.
Сеет луна золотую бессонницу
Около наших ворот.

Падают яблоки, влажные, спелые,
Падают так не попад.
Дышат туманы, густые и прелые
В светлую рощу и сад.

Лает собака за дальней оградой,
Птица ночная кричит.
Что тебя, сердце, невзгодит и радует?
Что так желанно горчит?

Будут дороги листвой припорошены,
Иней в лугах за окном.
Буду делиться со всеми прохожими
Золотом и серебром.

* * *

О любви сказать еще желаю,
О своей негаснущей любви
К снегом запорошенному краю,
К селам, почерневшим на крови.

К этой вот истоптанной дороге,
К трепету весеннему реки,
Потому что на земле не многим
Светят изб родные огоньки.

Всхлипывает лодка у причала,
Яблоня касается руки.

Мне ночная птица прокричала,
Что дороги к детству далеки:

Через дымку сумрачных вокзалов,
Через кровь успехов и потерь,
Через холод ложных пьедесталов —
Ко всему, что дорого теперь.

Этот путь, быть может, в жизнь длиною.
Но за весь сердечный непокой,
Может быть, едва глаза прикрою —
И увижу маму молодой.

* * *

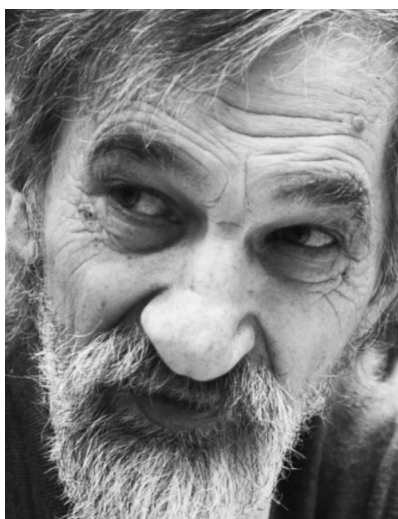
Поплыли селенья на том берегу,
Поплыли холмы и овраги.
И все, что недавно лежало в снегу,
В весенней запенилось браге.

Пустынные дали разбил ледоход,
Задвигали скулами льдины.
У пристани старой проснулся народ,
Скользит сапогами по глине.

Выводит петух засидевшихся кур.
От облака — длинные тени.
У Любки-буфетчицы — синий прищур
И солнцами светят колени.

Анюта соседу несет молока.
Наладил сетёнку Василий...
Пока что негромко, пока что слегка,
А все ж оживает Россия.

АНАТОЛИЙ ЗАГОРОДНИЙ



ГРОЗА

Анатолий Яковлевич Загородний родился в 1947 году в пос. Алга Актюбинской области Казахстана. Окончил факультет журналистики Алма-Атинского госуниверситета.

Работал редактором, заведующим редакции русской литературы в издательстве «Жазушы» («Писатель»), редактором в журнале «Простор». В 1996 году переехал в Орел.

Автор четырех книг прозы: «Вербь над колодцем», «Суд да дело», «Книга обольщений», «Тайна откровения».

В 1996 году номинировался на Букеровскую премию за роман «Сочинение о Божественной глине». Лауреат премии журнала «Наши современники», Всероссийских литературных премий имени Бунина, братьев Киреевских, «Вешние воды».

Член Союза писателей России.

РАССКАЗ

Проселочной дорогой, петлявшей меж березовых островов, то взбираясь на пригорки, то опускаясь с них, на поворотах едва не заезжая в тихую, мгlistую, неглубокую речку, местами даже пересохшую, катила низкая бричка, и в ней, на мешках с помолом, сидели двое. Один на передке, держа в руках обвисшие вожжи и на ходу подремывая, далеко еще не старый и кряжистый — дед Арсений. Второй — хлопчик Матвейка, примостившись на заднем борту, спиной к деду, свесив с брички босые ноги, болтал ими, так что на рытвинах пальцами и пятками загребал пыль со взбитой, как перина, колеи и глядел, как уходит назад дорога...

Только раз обочиной их обогнала полуторка с деревянной кабиной-скворечней да показался вдали обвездчик с ружьем, тут же и пропавший в ложине за речкой под темной тучкой, от которой иногда слабо потягивало душным ветерком, а так все было до одури покойно, все были одни примолкшие березовые колки да тянулась неспешно дорога с потерявшейся бричкой на ней. Дед Арсений с Матвейкой ехали с мельницы, возвращались из чужого села, а выехали туда еще прошлым вечером, позади были вечер, ночь и утро, и Матвейка уже истомился по дому, по двору, по мамке. И может, оттого, что было жарко, хотелось ему попасть в большую прихожую дома, где по вечерам перегоняли на сепараторе молоко, в нижнюю половину его, с земляным глубоким полом, на котором он любил катать тыквы, а из угла, от ямы с горшками и кринками, тянуло холодом и чем-то страшным, будто от полыньи зимой на речке. Но стоило толкнуть дверь и ступить за высокий порог, как схватывало все зноем, как попадал Матвейка на самый солнцепек, вздрагивая от озноба да замирая от ералаша бросавшихся врассыпную кур, замирая от взмахов потных, нагретых крыльев, из кото-

рых летела пыль, от дурного крика и пуха, летевшего в глаза, от всего этого разморенного, сонного, вдруг взрывавшегося царства глупой птицы, торчавшей все время у порога. Иные же из хохлаток так и дремали себе на завалинке в короткой тени, в давно уже высиженных лунках. Матвейка злился на кур, но привык к ним, к тому, что они всегда возятся в мусоре у порога; хотя бабушка каждый день мела от дверей этот мусор, да они его снова тут же наносили, нагребали бог знает откуда. Но как пройдешь кур и солнцепек, — а он всегда, солнцепек этот, у самых дверей при всех хатах и во всех дворах, — как пройдешь его, ноги утопают в зеленой, густой, мягкой кашке, застлавшей весь верхний двор напротив дома, а нижний двор, нижний начинался от задов дома — темным колодцем, раскидистой старой вербой над ним, корни которой выходили внутри колодца, в глуби его, как бы образуя из себя стенки его — витые, плетенные, черные. Дугообразные и твердые, как железо. От этих стенок со звоном отскакивали полные ведра, а пустые мялись и будто прилипали к ним. Эти же корни выходили из стены дома, тоже внутри его. Они даже подвинули от стены ларь с хлебом — тяжелый, обитый медными полосами, к которому сроду никто не подходил, кроме старшего в доме.

С этим ларем произошла целая история. Правда, во всех подробностях Матвейка узнал о ней позже, но случилась она при нем и еще до мельницы. Дед тогда проверил навесной замок, оказавшийся целым, налег плечом на ларь и подвинул его к стенке, а потом уж с сумрачным лицом поднялся в верхнюю половину дома, обошел всех, кто был там, поглядел на всех и начал с бабушки. Бабушка забожилась, что не трогала ларя, да и не под силу ей. «Разве что молодые, — предположила она, — да ведь молодые свои же — сыны да дочери, свои же, разве что только невестка чужая, за старшим сыном которая, да ведь она — баба. А сыну старшему, Матвейкиному отцу, отцу внука твоего старшего, — плела бабушка, — какой ему резон хлеб красть у своего же отца? Разве не в одном доме живем? И вроде мирно. Да и сын он тебе. А ты отец ему. Ну а Матвейка — малец совсем, внук твой. Старшая же дочь с зятем в город переехали. А эти, — поглядела она на других детей, — Нюрка, Васька, Алешка боятся тебя». Заговорила совсем бабушка деда Арсения. Не стал он шума в доме поднимать да из дома выносить этот разговор. Только когда вернулся с поля Николай, старший его сын, отец Матвейкин, еще раз осмотрели они ларь вместе. Убедились, что замок не сбит, доски нигде не сорваны, открыли ларь, хлеб оказался нетронут, следов чужих тоже нигде никаких не заметили.

— Кто же тогда ларь трогал? Так, что он подвинулся? — поглядел на Николая дед Арсений, разогнувшись над ларем, и повел по сторонам набрякшей шеей. — А? Кто же на хлеб позарился? Или сам?.. — Дед сдвленно хохотнул, взбросил вверх, к небу, пудовый кулак с отставленным пальцем и как бы отдернул кулак тут же. Дед явно намекал на Господа. — Сам почистить захотел? Оголодал!..

Зыркнув по ларю и деду синими очами, Николай поддержал этот разговор.

— Может, землетрясение, отец? — сказал он, склоняясь над ларем.

— Что? — откликнулся дед, а сам подумал, что, может, и вправду землетрясение было. И вспомнил, как баба ему сегодня между прочими делами говорила про вербу: вроде как вздрогнуло в какой-то момент дерево, и сверху листья посыпались. Бабушка сама это видела, хотела кликнуть, позвать Арсения, но не нашла его сразу. «Это у тебя сердце бабье отчего-то ёкнуло да дрогнуло», — шумнул он на нее тогда, а теперь вроде все сходилось, не врала баба — было землетрясение. Корней же, подвинувших ларь, дед

Арсений с Николаем не увидели за своей работой, хотя и осматривали ларь и с тыла, и с пода его. А увидели — может, тогда б все и объяснилось. Когда налег дед Арсений плечом на ларь — еще в первый раз, — он и задвинул их, корни, вогнал обратно в стену, да в землю, да в дерево само, может, оттого оно и дрогнуло — дрогнуло, когда на него поглядела бабушка. Может, так на самом деле и было, а может, и почудилось бабе. Дед Арсений не стал выяснять того вопроса: зачем зря голову забивать? Землетрясение так землетрясение. А как оно делается — про то другим лучше знать.

Однако и во второй раз ларь отодвинулся от стены, да будто прыгнул от нее — на ладонь сразу отошел и еще накренился малость, вспомнил тут дед про землетрясение — частенько что-то — да с тем и налег на ларь. Бабушка в это время второй замес делала во дворе, чтобы стены дома зашпаровать: что-то глина стала отлетать от них. Налег дед и не понял: то ли крик со двора услышал, то ли сам так матерно крикнул да крякнул — не поддавался ларь. Еще уперся дед — вроде задрожал ларь, вроде стронулся с места, но уж понял дед Арсений: дальше либо сам надорвется, либо с ларем что-то сделается, либо третье — бог знает что худшее стрясется. Но что из трех — неизвестно. Что зря дурную силу пытаться? Надо по-умному. Тут и увидел дед Арсений эти корни, несколько их было — остренькие и тупые, как рыльца или копытца, крепкие. Рубить? Новые отрастут. Назад задвинуть? Так всю жизнь будешь с ними тягаться. А и задвинешь ли? Опасался дед: и впрямь беда великая может случиться. А самолюбие тоже не позволяло ларь с места убрать. Подумал-подумал дед Арсений и пустил их в землю — корни. Хитро пустил: через ларь. Просверлил в нем дыры, расширил их круглым рашпилем, по несколько в тыльной стенке и по столько же в поде вдоль тыльной стенки, пропустил через них, через отверстия, корни и, пропустив, подвинул ларь к стене, слегка повисший на корнях, затем же погнул отростки, погнул, наклонил книзу и через отверстия вниз, как через колодцы, в землю пустил. Тогда уж и выпрямился, и вздохнул глубоко: непростая была эта работа, да и впрямь — невиданная. Да крепко держали с тех пор вербные корни и дом их, и ларь с хлебом.

И все то время, пока дед занимался своею работой, Матвейка крутился рядом. Потом же, ухватившись за край рядна, на котором перед тем проветривали и просушивали зерно из ларя, помогал нести его обратно в дом и сыпать в ларь и видел, как двигались под ним корни, покрываясь чистым зерном, и все чудилось Матвейке: шевелились они, как живые, или то от движения зерна происходило... «Ох, дед, — сказала напоследок бабушка, — как бы не проросла верба пшеницей». И Матвейка так и представил, как высоко и широко в небе на вербном кругу зацветают и шумят колосья, наливаются и зреют, а дед идет по кругу и жнет их и бросает на землю. И Матвейка даже не удивился, как это дед идет над землей, по веткам да прямо по воздуху, потому что верил: дедушка Арсений все может, только не хочет этого показывать, многое еще он от Матвейки в тайне держит...

Удобно примостившись на мешке с теплым помолом и следя за тем, как из-под железного плоского обода колеса ложится на дорогу ровная полоса, будто отставая от обода, Матвейка тихо позвал:

— Деда! А деда!

Дед Арсений дремал на передке и не откликнулся. Но Матвейке стало спокойней. И легче оттого, что он обратился к деду, что дед был рядом — все знающий, все умеющий, здоровый и сильный, только что старый. Матвейка оглянулся на него, на широкую дедову спину, и ему стало еще легче. Матвейка опять стал следить за ободом, за тем, как он раскручивается, ложась на дорогу. Взгляд Матвейки отбежал от обода, дальше по сле-

ду, назад, еще дальше, прямо к чужому большому селу, из которого они ехали. Матвейка уже совсем расхрабрился. Вспомнились ему мельница, ночь, крупные звезды над ветряком и их бричка под ними на земле, когда они остановились у мельницы. Дед натянул вожжи и с возгласом «Тпру!.. Стой!» первым соскочил с брички. Матвейка же помедлил, робея.

Когда они въезжали в чужое село, — а мельница стояла за ним, — было уже совсем темно. И света совсем нигде не было. То выплывал край хаты перед конем, то стог сена на задах двора, то, провиснув, плыли над бричкой, по краю ее, косматые подсолнухи, стоявшие при дороге. И Матвейка пригибал голову, спасаясь от их наждачных шкурок и битья по голове. Тут нельзя было зевать. Дорога была незнакомая. Село чужое. Никогда еще Матвейка так далеко не уезжал из дому. Кругом было темно и все настороженно тихо. Только собаки иногда взлаивали. За длинным серым строением, когда они его миновали, завернув вправо, открылась вдруг одна ночь, ничего, никаких хат, ни улочек дальше не было — только мигала лампа прямо перед ними в поле, делавшая ночь еще черней и гуще. Вскрапнули чужие невидимые кони, и длинные безобразные тени мелькнули за лампой, куда-то выросли вверх — Матвейка не сразу сообразил, что это по стене, — выросли и пропали вверх, в провале огромного косоного креста над куполом мельницы. А внизу не то двое медведей, не то двое мужиков, горбатые и толстые, как медведи, от вскинутых на спины мешков, согнувшись, пошли вверх вдоль стены по шаткой лестнице, и за скрипела и зашаталась не то лестница, не то мельница. «Тпру!» — будто не дед, а сама лошадь фыркнула глубоко и долго, и остановилась бричка.

Матвейка понял, что перед ними и есть мельница, что доехали они, на месте уже, и надо вроде спрыгивать с брички, но смелости не доставало. Так он и оставался в повозке, пока дед распрягал лошадь, отводил ее куда-то и ходил улаживать свои дела. Да опять что-то фыркнуло из темноты, где-то дальше. Матвейка поднял голову и увидел вдруг белую длинную поляну, будто серебро волновалось, из него и фыркало. «Лошадь в реке», — обрадовался Матвейка и увидел ее голову над водой. «Глянь, деда, — сказал он, как только появился дед Арсений. — Глянь-ка туда. Видишь, деда?» «Илия, — сказал дед. — Илия это течет. Куда поболее, чем в наших местах!» И тут зашумело от реки, всколыхнулась вся она, и на берег вышло животное. «Гнедой купался», — сказал кто-то, показавшись из-за спины дедовой, в гимнастерке и сапогах, припорошенных мукой, и позвал лошадь к себе. И точно, животное пошло к нему. Вышло из мрака, в котором пропало, отойдя от реки, резко обрисовалось, подойдя ближе, вытянуло морду и ткнулось губами в человека, отступило назад да затрясло головой и задрожало крупом, отчего все пространство справа, слева и над ним засеребрилось водой, и Матвейка радостно засмеялся. «До стекла как бы не достала», — метнулся человек к лампе на приступке, увернул фитиль, а потом и вовсе притушил лампу, унес ее куда-то. И стало совсем темно. Только от реки по-прежнему светилось.

— Мельник с колхоза это был, — объяснил дед. — А ты, никак, спать хочешь? Пришибла дорога...

— Напужался я, деда, — быстро заговорил Матвейка, поглядывая, идет мельник или нет. — Глянул на воду — лошадь сгинула. А где мужики, деда?

— Каки мужики? — не понял дед. — А, энти? Разошлись кто куда. Да ты не бойся.

— А лошадь мельникова, деда, ушла... — Матвейка примолк на бричке, и где-то звякнуло не то уздечкой, не то цепью. — Ты, деда, чё не мелешь? Баба нас ждет. Сказывала, быстрей.

— Шплинт. Хэ, — улыбнулся в темноте дед. — Ветряк стоит, Матвей, или не видишь? Хоть так он... для красоты оставлен, а движет мельницу электричество. Беда только. Что-то сломалось там в механизме... Но Иван обещался помолоть. С нашего села он. — Дед помолчал. — Я его хорошо знаю... А ты вот, Матвей, не можешь знать. По той причине, что в войну появился ты и подрастать стал, а он ее на фронте отбыл. А вернулся — сразу сюда определен был. Как фронтовик! — Голос деда дрогнул. — Сам военком его на пост до мельницы поставил. Хлеб — такое дело... — Дед сапогом подвигал оглоблю по земле, и жалобно пискнула уключина. — Тут и остался он...

— Что, как дитя, возишь оглоблей? — появился мельник. — Под утро привезут шестерню из кузни, — мельник задрал голову к небу, — первыми вас и пропущу.

Дед полез под передок за сумкой, сразу вынимая и сумку, и бутыль из нее. Мельник внимательно следил за тем, как дед достает добро из брочки, спросил же совсем о другом и прямо касающемся Матвейки.

— А что он у тебя с брочки не сойдет? — осведомился мельник. И, не дожидаясь ответа, обратился уж к Матвейке: — Первый раз у меня на мельнице?

Матвейка поглядел на деда. Дед и ответил за него:

— Первый. Он ишо так далеко не уезжал из дому, чтоб село с глаз пропадало.

— Н-да, это дело серьезное, — сказал мельник.

Дед поставил сумку и бутыль на траву меж оглоблей, затем снял с брочки Матвейку: «Побегай!» Вдвоем с мельником подняли они и опустили на землю мешки с зерном. Мельник опять пропал и вернулся с огромным, тяжелым тулупом, расстелил его в брочке так, чтоб на одной поле можно было лежать, другой укрываться. «Ну так что, давай!» — сказал дед Арсений, взял в руки бутыль, потянул за деревянную высокую пробку, окутанную марлей, набулькал в кружку и подал мельнику... Затем сам выпил. Втроем они поужинали. Потом Матвейка лег в тулуп, а дед с мельником говорили рядом, устроившись на мешках и допивая из бутылки.

В тулупе сразу стало жарко и душно, и Матвейка раскрылся, и ветерок обдул его, да от реки потянуло на лицо, когда Матвейка приподнял голову над бортом брочки. Он лег на спину, сцепил руки за головой и стал смотреть на ветряк, на крест в звездах — он четко выделялся на небе, — а внизу говорили, где-то шумно вздыхало и иногда глухо било о землю, пролетали над брочкой запахи пыли и травы и чего-то прогорклого и родного, потягивало кизяком и огородной ботвой, все запахи были родные, и Матвейке так и показалось, что он дома, во дворе спит, а дед с бабой говорят внутри дома под открытым окном, только что у бабы голос осип, стал как у мужика. Что-то пронеслось над Матвейкиным лицом и слабо пискнуло, затем потянуло табачным дымом: дед на ночь закурил, ходит по избе, сейчас тоже ложиться будет. Матвейка даже подвинулся в тулупе к мягкому борту, хотя дед и отдельно от Матвейки спал, подвинулся, свернулся да на том уже и засыпать стал и заснул уже, как вдруг качнулся над ним ветряк, качнулся и застрявшим в ворохе звезд верхним крылом своим потянул небо книзу, за собой, сместил его, да так низко, что лицо Матвейки вроде погрузилось в туман и у него дух захватило от холода и восторга. Да стал ветряк, повисло у него черное небо со льдами звезд на крыле, и тогда дед Матвейкин, раскрутив, бросил кверху веревку — какую-то узловатую и темную, вроде тех вербных корней — забросил ее на другое, противоположное, крыло и потянул его книзу, — да под-

нялось небо с краю другого, а то уж совсем заохлодило оно Матвейку, приподнялось оно, и Матвейка свободно вздохнул. И тут отчего-то ветряк затрясло, как если бы снизу кто ствол яблони тряс, и посыпалось с креста вниз со звоном...

— Ни одной звезды уж нет, — сказал голос над Матвейкой.

— Хо, звезды! Солнце уже с час как встало.

— Ладно, шут с ним, потряси еще.

Открыл глаза Матвейка, а над ним дед Арсений и мельник стоят, сбросили с него тулуп, легонько трясут его за плечо: «Вставай, весь помол проспий».

И правда, утро уже давно на дворе. Перво-наперво бричка, в которой он лежал, стала меньше против той, что была ночью, а все вокруг раздвинулось и прояснело, но мельница тоже как бы села, а река голубинно и глубоко катилась рядом, и от воды как бы дышало все вокруг, прозрачнело, наливалось упругой ясной силой. И враз взбодрел Матвейка, глотнул, потянув от реки воздуха, и, переведя дух, покосился взглядом на лестницу, по которой ему, верно, надо было взбираться, — ёкнуло в груди у него. Вскинул он голову вверх — крутился тихо ветряк, будто во сне. Всеми своими деревянными частями посапывал. Да спал на ходу и словно клонился от этого, тихо падал на Матвейку. Это только дед так умел — ехать, править лошадьё и спать. Точно ветряк напоминал деда — хотя дед был поменьше, но тоже высокий, а руки у деда как у ветряка. И взял Матвейка да и себя так примерил к ветряку — мал еще. И прямо на него упал Матвейка взглядом — да врезался будто ветряк в синь небесную. Отпечатался на сини, будто был вырублен в ней, проявляя ее далекую звездную черную глубину. Прыгнул Матвейка с брички, кое-как накинув на себя одежонку, и пошagal к лестнице, и с каждой ступенькой становился ближе к куполу мельницы и ветряку тому.

Дед первым нырнул в проем двери, за ним Матвейка, а далее уж мельник вошел и захлопнул за ними дверь. Да еще куда-то выше они поднялись, как уже задуло в Матвейку снизу, и сверху, и с боков нутра мельницы, словно при позёмке, бросило будто крупой, и так все было, как если бы вышел Матвейка, вывалился из дому на улицу, прямо в пургу, только улица как жерло или холодный дымоход, в котором все и отовсюду тянет, и все в нем ходит и мечется, и не только глаза видят, но и ноги под собой чувствуют толчки и дрожь, и передается она телу, и тело само тем жерлом становится. А лестница, перильца, подмости — все шатко, качается, и кажется Матвейке — сейчас он полетит вниз, опрокинется мельница и воткнется ветряк в землю. Ух-ух! — ходят и вздыхают жернова под полом внизу. На самый верх взобрались Матвейка с дедом, а мельник ниже где-то остался. Попробовал Матвейка глянуть вниз сквозь щель, что там, внизу, а тут сверху над ним да прямо на него наезжать что-то стало, будто колодезный журавль заскрипел. Задрал он голову кверху, а на него в воздушной фортке кверху, прямо на него крыло ветряка опускается, вот-вот ударит. Хх... — проехало совсем рядом, повернулось над ним. Пригнулся Матвейка, присел даже. А дед ему: «Не гнись. До времени гнешься, Матвей! Пособи лучше!» — а сам уж поднял на руках перед животом полмешка зерна, оставшегося непомолотым, поднял и вскинул на грудь, положил боком на решето, взялся за нижние углы мешка, дернул, зерно и легло на решето холмом. «Повороши!» — приподнял дед Матвейку над решетом, и Матвейка погреб руками зерно со стороны на сторону, и сыпануло оно вниз сквозь сито, а за ним разглядел Матвейка подвижный деревянный кожух, сходящийся четырьмя плашками книзу, к дыре, и пшеница, как в прорву, уходила в нее, в черную дыру. Будто из колодца дохнуло на Матвейку оттуда. Погреб еще Матвейка, а внизу быстрый

легкий затор из зерна образовался, да увидел Матвейка, как затягивало зерно в дыру, как шевелилось оно, и опадало, и разом рухнуло в узкую мглу. «Теперь вниз, — гуднул дед, — собирать помол». Чуть задержался Матвейка на лестнице у медленно едущих жерновов да попробовал встрять взглядом меж камней, чтобы зерно увидеть, как оно трется там, ничего не разглядел и, жалея о том, спеша за дедом, озираясь кругом, слетел вниз, очутился уже у открытого ларя, и уже подхватил его дед и поставил в ларь босыми ногами прямо в помол, да порхнуло ему еще на ноги мукой из обвисшего брезентового рукава. Раскрыл дед, поставил перед ним пустой мешок, тот самый, из которого зерно в решето ссыпали, вогнал Матвейка, как в масло, легкий совок в помол. Поднять его — а он не подымается, пристал будто. «Посунь», — посоветовал дед. А Матвейка сгоряча прямо вверх рвет его, присел аж, порхнуло на него снова из рукава, и Матвейка вдруг понял, откуда так горьковато несло с вечера на него. С мельницы — мукой. «Посунь совок! Не рви к небу! — крикнул дед. — Сцепление в нем крепкое, как в цементе». Посунул Матвейка, и совок легко вышел из помолы, как из масла. Набрали они полмешка и на свет вышли, а там, наверху, уж другие люди ссыпали зерно в решето. Вышли они, а кругом все тихо, и мельница даже не дрожит, стоит себе, и не подумаешь, что там, внутри, такой сквозняк, гул, пурга. Тихо кругом, и телега покойно стоит под мельницей.

Снес дед мешки на бричку, запряг лошадь, вышел мельник попрощаться с ними, и тронулись они обратно в дорогу, домой теперь. Ехал Матвейка — а дед подремывал впереди на мешках, всю ночь-то не спал, — отъезжал Матвейка от мельницы, от чужого села, от последних хат его под раскидистыми зелеными деревьями. Взобралась бричка на широкий холм, перевалила через него, и пропало все. Глядел Матвейка на обод, на ленту под ним, убегающую назад, к чужому селу, и верил и не верил, что все это с ним было. А было ведь!

Переживал Матвейка наново свою дорогу, и все вспоминалась она ему опять. И уж забыл он как-то даже про дом, про мамку, про двор свой таинственный. Совсем расхрабрился. Как петушок поглядывал с брички. И так полагал, что чуть ли не с дедом сравнялся: и зерно отвез на мельницу, и помолот его, и собрал в мешки. Да, было дело. Что там говорить. Вон мельник как расспрашивал про жизнь, пытал его. Любопытно мельнику знать про него. И за руку попрощался, как с дедом. Оно б надо деда посадить назад — пусть себе спит, — а Матвейке сесть на передок и править бричкой.

Хотел оглянуться Матвейка на деда и отвлекся: от куста чилиги, обсыпанного желтенькими цветочками, то ли выпав из него, то ли схоронившись под ним от солнца и напугавшись брички, запрыгал неровно птенец. Высоко скакнув, упал на голый бугорок, да прямо грудкой. Ударился о землю и вроде мертвый лег там. Оглянулся Матвейка на деда — дремал дед, — да спрыгнул Матвейка на дорогу поглядеть на птенца. Немного неловко спрыгнул, вскочил на ноги, а уж потерял из виду бугорок. Туда-сюда пробежал — нет нигде птенца. Глядь под ноги — а он прямо тут, под ним. Дышит часто птенец и смотрит на Матвейку. Замер Матвейка, шагнул к птенцу, чтоб взять его, протянул руку, а тот «фырк» — и взлетел прямо из-под руки. Оторопел Матвейка и за птенцом. В балочку тот вроде упал. Осторожно пошел Матвейка по траве, вынося, поднимая ногу над травой и ставя ее впереди на пятку, да прежде разглядывая то место, куда ставил, чтоб не хрустнуло там, — не спугнуть бы птенца. Только что рой кузнечиков мешал Матвейке, подвигаясь впереди него, да сухая трава понизу шуршала все же и колола пятки. Из-за этого Матвейке приходилось мельчить шаги, пяткой — и той всей сразу не ступишь, надо прежде поскользиться ею,

примять колкий прошлогодний сухостой. Бегом ничего, а когда осторожно — колет. Зато зеленая трава повыше ласкала ноги, но когда попадался ковыль, уж больно щекотал он под самым коленом, попадая прямо под сгиб распушавшимися прозрачными метелками, — Матвейка б и не замечал, может, его прикосновений, но этим ковылем всегда щекотал его дед, водя им по Матвейке в самых щекотных местах — под тем же коленом или у шеи, где понежней была кожа. Меж тем Матвейка продолжал красться и уж очутился на краю балки, небольшой и продолговатой, густо забитой зеленым, из которого посередке поднималось дерево. С верха его, толкнув ветку, снялась крупная птица и низом полетела по-над полем. Матвейка вздрогнул и проводил ее взглядом. Взглядом поискала птенца. Но не нашел его. А в балку не решился спуститься, обошел ее. Поглядел лишь, как вылетали из нее жуки, висела, дрожала над балкой мошкара, — парно там было, как в сарае. Трава такая, что в нее провалиться можно с головой. Лопухи бывают высокие да на кочке растут, а сами не держат — только ноги и подворачивать. Может змея быть. Может, и птенца она уже съела. Да трепет пробежал по траве, вроде кто задергал ее снизу. Отбежал Матвейка, пятясь, повернулся — мамочки! — повязало язык Матвейке.

А кто хоть раз рвал ягоду в лесу ли, в поле, в степи, по балкам и лощинам, по рекам, по обрывистым берегам, берегам пологим, скользким и черным или из песка одного — мелкого, чистого, сыпучего, с кем хоть раз такое было, тот вспомнит, как дрогнет при виде места такого в груди и как кисло вдруг станет на языке, сведет горло, сглотнется, сделаешь шаг-другой да припадешь к кусту, и глаза ничего не видят, кроме ягоды, которую рвут, хватают руки, бросают ее в рот, и жуется и глотается она, меж тем как глаза ищут, а руки снова рвут. Бредет человек от куста к кусту — пока-то первый приступ ягодной лихорадки пройдет. То и с Матвейкой случилось. Оказался он у пустычного обрывчика, по отвесу обрывчик с голень или и того меньше, а дальше медленный спуск к пересохшей в этом месте речке, дно которой из песка, покрыто редкими лопушками и все просматривается, а весь спуск к нему сплошь одного вида ползучим пышным листом покрылся — ежевичник, — и сквозь него издали видно — накрапано. Будто крупный дождь прошел, пролившись с черных туч, да застряло по капле там и сям, провисло. Спрыгнул Матвейка с обрывчика, раздвинул листья, слегка отдававшие пылью, а там будто дегтем измазано все — и песок, и шершавые тылы листьев, и бегущие от куста к кусту плети. Дергал Матвейка ежевику, а далеко у поворота реки отзывалось — крупная дрожь, затихая, бежала по плетям во все стороны, будто ожил склон, задвигался и пополз куда-то. А начавшийся уже легкий ветерок помогал этому движению. Да ничего не замечал Матвейка.

Сперва без разбора рвал ягоду, а как свело рот и совсем повязало язык, стал выбирать покрупнее, поспелее ежевику, с лопнувшими и опавшими уже чуть ячейками, размяченную, похожую на округлые черные соты, когда осы только начинают вить свои гнезда, прилепившись где-нибудь под веткой, а бывает, и на видном месте — под дверным косяком или еще, как видел раз Матвейка, под оглоблей, когда бричка долго стояла без дела у них во дворе. Только черные эти соты, полные и закрытые.

Стал перебегать Матвейка с места на место, от куста к кусту, дошел до поворота, за ним ниже вода блеснула. Матвейка уже и не рвал всякую ягоду, а высматривал какую-то необычную, особенную, должна же была быть хоть одна такая. То он еще поверху шел, а тут внизу очутился, у самой воды. У небольшого озерца. И на другой склон поднялся. Там тоже стлалось и чернело. Но прежде напился Матвейка. И на лицо поплескал воды, и

руки он пробовал отмыть от ежевики, но застыли у него руки в воде. Он не в самом озерце с водой возился, а чуть над ним. Чуть над ним родничок пробивался из земли и стекал в озерцо, и не родничок, бочажок даже, заросший упругой зеленой травой, стоявшей на мшистых кочках. Чернела кружком вода. Полон был бочажок. А в середине иногда серовато булькало. Да застыли руки у Матвейки. Макушку напекло, а руки даже померзли от воды. Воду он замутил. Присел на корточки и стал ждать, пока она отстоится. Отстоялась она, а Матвейка все смотрит на воду и чувствует, как она тянет к себе. Отодвинулся он от бочажка, а нестерпимо ему снова пить хочется. Да стало все как-то иначе... Как под вербой у колодца.

Матвейка всегда с боязнью подходил к колодцу. К нему были положены мостки поперечными горбыльками, и до половины они тонули, хлюпали в воде, и сами же на корнях вербы лежали. Что там, под ними, да под чавкающей водой, да за корнями, и не видно, но чудилось Матвейке: ниже пусто все, обломятся корни, на которых лежат горбыльки, и он провалится вниз, не дойдя до колодца. И даже сны ему такие снились. Вот почему, когда он облокачивался о сруб колодца и смотрел в него, то не забывал и о ногах, о горбыльках, на которых стоял, смотрел вниз, а носками шупал за колодезем и ждал, не уйдет ли там все из-под ног. И крепко держался за сруб на всякий случай.

И теперь Матвейке почудилось, будто может уйти из-под ног земля. А не было ему за что уцепиться. Скрепился Матвейка, прогнал страх — да не чавкало же здесь под ногами. И бочажок был мал. Нашарил Матвейка рукой прутик, ткнул им в воду, и не весь он намок даже еще, потыкал им Матвейка, а тогда уж оперся у самого края бочажка на руки, склонился лицом над ним и принялся пить, ловя самый столб бочажка, место, где вода была сероватой, как снег весной, когда он протаивает.

Пьешь когда так воду, вроде не видишь в это время ничего, а напьешься, глянешь вниз, на воду... Глянул Матвейка и уперся взглядом в верхнюю стенку бочажка под водой. Как тень вроде там прошла, остановилась, заколебалась, и уж различил Матвейка вроде щупальца что-то, отростка противного — точно корень то колебался, выходил из стенки — неужто так далеко верба распустила корни свои? — а дерев рядом нету... или что-то другое то?! Отпрянул Матвейка. Встал на ноги, еще задержал взгляд на бочажке, на том, как выталкивает столбик из земли, а кругом него темно и будто кружение идет, и не столб там, а воронка чудится. На миг задержался Матвейка, а уж почувствовал, как голова кружится. Не быстро, не сразу, опять пятясь, отошел он от бочажка и стал взбираться по склону вверх. И пока он был внизу, еще не замечал перемены в погоде, и пока лез, не замечал, так и думал, что склон ползет оттого, что он дергает ногами ежевику и все это движение на склоне от него идет. Однако заспешил он. И холодно стало. От бочажка, видно, набрался холода. Не замечал еще Матвейка холодного ветра. Пробрал его бочажок. Только когда стал на гребне, обернулся назад, а под ним ежевичник ходит волнами и плывет склон. Гоняет ветер листья, треплет их, бьет друг о дружку, гнет к земле, а то отрывает от земли полегшие плети, обнажая землю, да будто стегает ими ее. Застыл Матвейка над склоном, глаз не может оторвать от него, — рубашонка надулась, волос отлетает от головки, — а расхोdivшийся склон вздымается, вскидывается, цепляется языками за гребень, сейчас одолеет, перевалит его, в степь подвинется, запутает ее — не проберешься. Отшагнул Матвейка от гребня, стал на ровное место, оглянулся в последний раз — да бежать к бичке...

А ни дороги, ни бички, ни деда — никого кругом... Один Матвейка в мире! Посередине земли и неба, на ветру. А гонит тучи вверх. И низ

клубится пылью. Темнеет воздух. Бочажным холодом наливается. Вот-вот первые капли падут.

Поглядел Матвейка в одну сторону — вроде он не был здесь никогда, не проезжал, поглядел в другую — чужое все. Оглянулся на речку — и к ней, родной она уже ему стала. Перевел взгляд на ту сторону, а та сторона пониже — показалось или нет? — балочка там с деревом. Там деда!

Матвейка к ежевичнику. Бежать через него. Но он кипит листвою весь! И бочажок же там, внизу, прикрытый полегшей травой, — не разглядишь его. А озерцо как с землей слилось — потемнело, не видно границы воды. Заметался Матвейка по берегу. Перебежал дальше. Там тоже ежевичник. Остановился он. Собрался с духом. Да собрался с духом Матвейка, закрыл глаза и нырнул в ежевичник...

А как нырнул он в ежевичник, тут и задержало его, ухватилось за Матвейку, потянуло к себе. Рванул Матвейка руку — повисло на ней. Да опять его крутануло, повлекло куда-то, обвилось вокруг тела, и задержало, и с разных сторон потыкалось, поколотилось об него. Крепко зажмурился Матвейка. Господь с ним, что там тыкается, только б не открыть глаз и не перепугаться вконец. Не удержишься, разлепишь веки — хуже станет, на месте кончишься, слышал Матвейка про то. Вон оно как делается что-то вокруг него, шушукается, пересвистывает зелено-темно, тонко-тонко да шмыгает все, шлепается рядом и на него, облепило уж, попристало, внутрь скользнуло, за рубашку, — рази шкурки листа? рази плети бегут, ищут его? Да отчего-то опять на миг вспомнились ему корни вербные, будто в них это он осел, схватили они его и не отпускают. И все как мордочками кто-то тычется, да клювами долбит, да ноготками — цап-царап, лапками — шлеп-шлеп, ручками — хват-похват, муторно стало Матвейке, крикнул он, рванулся — отстало все от него, хрястнуло, переломилось, утянулось назад, отпало, — стал падать Матвейка, точно в дедов колодец его забрасывало. Долго он летел вниз, окутанный враз тишиной, будто в пустой, длинный, как в сказке, колодец падал. Как упал, расширился колодец во все стороны, стал землей, и все как на земле здесь, только сказка это. Видит он сквозь ресницы или то уже через травяные нити? — видит он, открыв глаза, прямо перед собой, перед лицом — бочажок. А по нему — клеп-кляп, клеп-кляп, и закапало, и каждая капля, упавшая в воду, чуть углубляла место, в которое падала, и чудилось оно новым бочажком, только народившимся, да западали бочажки с туч, зарябило от них в глазах Матвейки. Пошел дождь. Уж в шум превратился. И в шуме этом прогрохотало над Матвейкой глухо и отдаленно. Не то всадник скакал где-то, не то гром перекатывался по небу, не то дождь так сильно стучал.

А скакал за берегом по дороге дед Арсений. В село чужое. Назад. За ним, Матвейкой.

Дремал дед Арсений на повозке, дремал, а как налетел ветер да тряхнуло еще бричку на рытвине, пришел в себя он — а уж гроза начинается. Проснешься так и прямо в грозу попадешь. Крикнул дед Матвейке, чтоб держался тот крепче, стеганул лошадь — быстрее до села надо, — рванула лошадь, с ходу взяла, и полетела бричка вперед. Да не сбросило ли там Матвейку? Оглянулся дед назад — и как вкопанная стала бричка. Протер глаза дед да выругался — не было Матвейки. Пошумел, покричал дед Матвейку. Развернул бричку да бросил ее там, распрягши коня. Вскочил на него и погнал коня галопом — да назад, назад: может, где на дороге выпал Матвейка, а может, и в селе остался.

Стегал дед коня, и чем далее — тем сильнее гнал, и чем далее — тем более росла тревога, чем далее — все меньше оставалось надежды. Сгинул внук,

что ж ему в селе оставаться? Сгинул! Хлестал дед коня, а деда ветер и вода хлестали, и безнадежно он гнал коня, уж так гнал, словно и коня, и себя решил заморить... Чтоб пал конь посередине дороги, а с ним и сам дед, да грохнулся б с коня наземь, так, чтоб и костей не собрать, и праха — не все ль равно теперь. Безнадежно гнал он коня. А глянул бы кто со стороны — всадник с почерневшим, лютым, старым лицом скакал по дороге, и то ли безмерная тоска вычернила его, то ли время, решив обессмертить, слило лицо его с темной водой и ветром. Да дало силы ему безмерные. И тысячу коней загнал бы, чудилось, всадник, а все б скакал, и ничто б не остановило его, пока сам бы себя не пожег он огнем. Тем огнем, что горел в глазах его на темном лице, подобном тому огню, что копится в небе перед грозой, да уходит потом в землю, да проливается дождем, да сам себя же поджигает.

Прогрохотало над Матвейкой. Опалило огнем. Вскочил он на ноги, прянув от бочажка, от темной воды, в которой полыхнул холодный небесный огонь. Загрохотало, засверкало по всему небу. Зачастили капли, забарабанили по листве, прибили ее. Не помня себя и не ведая уж, как взбежал, взлетел Матвейка по склону, по листьям, по плетям вверх. Глянул — никого...

А уж внизу полным стало озерцо и слилось с бочажком, и скоро уж из озерца должна была пролиться вода, верно, с шумом и ревом ринуться по тому месту, где только что был Матвейка.

Глянул Матвейка вниз — жутко. Глянул Матвейка над собой — и там все бушует, клокочет, бегут косматые тучи, будто ежевичник ползет по небу и сыплется вниз черный дождь. А брички с дедом нет. Бросил Матвейку дед. Или ветром сдуло его, смело с земли. Да поклонилась трава к земле, и намокла, отяжелела земля, попривалась к ней дорога, поклонились за дорогой, погнулись книзу косяки дерев, пораспластались, порасшумелись, зароптали. Повытягивались, повытянулись ветви с листьями вдоль земли, как кочующие куда-то птицы. И черно было в их стороне, черно от дерев, особенно там, где теснее смыкались они, шел оттуда стон, треск и свист, протяжно вздыхало там и ворочалось, будто залегло в этой зеленой исчерненной массе тяжелое и огромное животное и пыталось встать и выйти оттуда. И грозно шумело от еще полной реки. И все ниже нависали водяной толщей тучи. А между всем на голом ровном месте дрожал Матвейка. И нигде никого — ни одной живой души не было. То ли попряталось все живое, то ли оборотилось этими деревьями, травой, землей и всем, что на ней было зеленого и трепещущего. Образовалось вокруг Матвейки движение безостановочное, многосложный, стоязычный говор, дыхание, и биение, и огонь, как в кузне, и ворчание, как в котле, и урчание пса, и птичий клёкот. А нигде ни птицы, ни зверя. И остро схватило сердце Матвейки. Темная сила приковала его взгляд к траве и смутно обозначила в нем желание стать травой. Слиться с нею. Оборотиться травой, стеблем, листом. Или еще глубже спрятаться — стать сеткой корешков или даже теми страшными вербными корнями, засевшими во тьме и разбредшимися по ней. Так страх приковал его к корням, от которых он набрался страха. Да в какой-то миг так и показалось Матвейке: уходит он в землю, во тьму, возносясь в одно время над нею. Точно деревом стал Матвейка. Да острым было то желание. Впрямь слился он с корнями, стволом и подрагивающими побегами его. И в миг слияния этого и возврата к тьме отпустили его все страхи (чего ж ему было теперь бояться?), и в самый миг отпущения этого, немедля, тотчас озарило все небо, озарило пышную зеленую крону, обожгло косым синеватым светом ее, встопорщились, ошетинились, встали ребрами к свету листья и пропустили свет к земле. В налетевшем ветре засияла крона, разбилась о нее ве-

тер, и помножился общий шум. И отнесенное ветром пламя, косо прогнувшись, вошло в землю и будто на миг высветило темные недра ее, в которых, как в воде, повисли тугие мутные клубки. Будто в себя заглянул Матвейка. Закружилась у него голова. Затрепетал он в ужасе и восторге. Сами брызнули слезы и смешались с черной водой. Брызнули слезы, и всхлипнули далеко внизу корни. Всхлипнули, втянули в себя влагу земли, неся ее кверху, и сверху же лило вниз. Бурлила земля. Но сладко ныло сердце у Матвейки. Повязался он с дремучей силой. Да большее желание схватывало его. Будто не вокруг него, а в нем, внутри, в глубинах его, разверзлось и высвободилось, в темных недрах его забушевал тот огонь и тихий свет его — зашумело, загрохотало, началась гроза. И было два мира, а стал один. Сам Матвейка стал той силой, стал Матвейка огнем, водой и ветром, метал громы и молнии, гнул деревья да вырывал их с корнем из земли и ворочал по ней, разносил в щепы да пожигал их, а уж новые корни затягивал вниз и возносил кроны над землей. Э-ге-гей! Хорошо бушевать на земле. Бежал Матвейка по дороге, сжав кулачки, в потоках воды, сам синий и черный, как молния, как та сила, что рождает этот пронзительный свет, да жадно ловил ртом тугой воздух, задыхался в каком-то смертном, искупающем все восторге. И упал так Матвейка на бок, на землю — на миг утратив сознание, — точно ком грязи, опутанный травами, покрытый соками их, и уж правда не отличим был от земли. А все продолжали вертеться в нем огненные волчки, бежали огненные токи крови и бурлила жизнь — как в начале своем, также похожем на смерть. И так же, как вначале, охватил Матвейку страх. Еще и не приходя в себя, почувствовал он всем тельцем, как томится и вздрагивает земля, как пошевеливает его, подвигает куда-то и все под ним бурлит, переливается, несутся вокруг токи земные... Словно был он в той горячей кузне или даже в мехах, которые сдавливали его, в каком-то безмерном брюхе, где все животворилось, где было горячо и жарко, и только он один дрожал, и только ему было страшно, только его давило со всех сторон, отторгало, отчуждало, выбрасывало, будто выталкивало его из корней, из воды, из огня, из земли, в которых он был еще так недавно, и все мучительно в нем и вокруг него содрогалось. Закричал он и с тем криком пришел в себя.

Снова побежал той же дорогой. И не видел, как настигал его дед, скачущий обратно из села. Только чуял Матвейка за спиной грохот, все нараставший, и все быстрее бежал до брички, в которой не было никого, и, как увидел он, что пуста она, тут и настиг его грохот. Сжался Матвейка — снова бы ему в землю! Оглянулся назад да увидел деда, и в тот же миг обожгло его, опалило: хлестанул его дед кнутом поперек спины. Кинулся под ноги ему Матвейка и всхлипывал, и дрожал. А дед обнимал его, глядя по спине, и что-то говорил ему, и потухали в очах его молнии, в то время как дождевая влага застилала их.

С той поры стал запоминать Матвейка дни своей жизни. С той грозы память пришла к нему. И уж долго, а пожалуй что и никогда не проходило у него такое чувство, словно тогда только он и родился, когда почувствовал, как отторгает, не принимает его земля, как нет места ему в корешках, как холодно и сирому ему на земле... И уж никогда не проходило совсем это чувство, от которого хотелось плакать и в обычные дни... От полного и ничем не восполнимого одиночества на земле, а может, и в мире всем, которое особенно дает знать себя весной, в дни полнолуний и повсеместного цветения, в дни весенних гроз, которые словно напоминают о порушенных связях с землей, о том, что были и они когда-то! Может быть, затем и бушуют грозы в небе, чтоб напомнить о том...